Коновальчук Михаил

(1-29-30/12 (дек.)

Михаил КОНОВАЛЬЧУК

День ангела

Сценарий (точнее, киноновелла) “День ангела” написан Михаилом Коновальчуком тридцать лет назад, в 1976-м, на первом курсе ВГИКа, и никогда не опубликовался. Такое было время. Фильм по этому сценарию, режиссерский дебют Сергея Сельянова, снят в 80-м, на любительской студии, почти подпольно, и только восстановленный на “Ленфильме” в 88-м, вышел в прокат. Такое было время.

Однако сейчас вот так – с ощущением радости открытия – сценарии пишут разве что редкие авторы. Другое время.

Между прочим, родился я не совсем обычно. По части физиологии все обстояло как полагается, но меня планировали в концу года, к пятому числу декабря. А ОТЕЦ, ПЕРЕПИВШИСЬ, ТАК ЖАХНУЛ ИЗ СОРОКАПЯТИМИЛЛИМЕТРОВКИ, ПРИПРЯТАННОЙ НА ЧЕРДАКЕ НА СЛУЧАЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ, что мать разрешилась до сроку.

Стояла напряженная оранжевая осень. Кругом гнали самогон, били баб и уклонялись от извоза. Председатель прихватил жену с попом и в лютой ярости к религиозному обряду взорвал церковь. Впрочем, церковь осталась цела, но куском кирпича убило нашу свинью, и нарочно ее похоронили на церковном кладбище рядом с почившей в бозе попадьей.

Родился я в семье шестым. Первым был мой брат Иван. По традиции все старшие сыновья звались Иванами. Не знаю, кому из пращуров и зачем это нужно было, но правило соблюдалось строго, и не дай бог было назвать старшего как-нибудь иначе – его бы все принимали за еврея и от случая к случаю били бы как Льва Давыдовича, продавца из сельпо. Этот Лев Давыдович жил у нас безбедно – его единственного называли по имени-отчеству; но к осени, на покрова, его непременно били всем миром. Просто так, неизвестно из-за чего. Он уже к этому привык. Сам выходил навстречу, надевал что похуже и выходил. “Бить будете?” – спрашивал он с понимающей улыбкой.

– А то как же! – мрачно отвечали собравшиеся. – Выходи, жид пархатый.

Лев Давыдович шел к ним, ноги его подгибались в коленях, он заглядывал всем в глаза, может быть, пытаясь прочитать там вековую загадку, источник той силы, что заставляет гуся кричать и лететь на юг, а членов сельской кооперации выходить по осени с дубьем и бить его так, что бедная добрая Сара отхаживала его только к ноябрьским праздникам. В сельпо в это время орудовал Гришка Косой, товарооборот снижался, росла недостача, ревизия ругалась, Сара плакала и ложилась в постель одетая.

После Ивана родились все сплошь девочки: Любовь, Надежда, Вера. Отец на этом не остановился, и смутная надежда на меня сводила его с матерью и заставляла топорщить усы по вечерам.

Но только на третий год усилия увенчались успехом – два предыдущих года отец пил и дурным глазом поглядывал на Николу-угодника, похожего на Льва Давыдовича как две капли воды.

Чтобы хорошо вспомнить прошлое, я прищуриваю глаза и смотрю немного вбок – так все очень хорошо видно! Начинаешь понемногу светлеть и уменьшаться. В голове все немного сжимается и немного болят глаза.

Заглядывая в прошлое, скашивая глаза, я иногда видел куски незнакомой мне жизни, какой-то пейзаж с рекой и кручами. Понемногу куски подсмотренного прошлого складывались в неровную картину, знакомую до слез и чужую. Иногда меня там даже окликали. Кто окликал, что хотели сказать или спросить, я не знаю, но было тревожно и радостно слышать этот зов.

Так, прислушиваясь, я просиживал часами, и трудно было меня сдвинуть с места.

– Ну что ты, будто тебя пыльным мешком трахнули? – пристально спрашивал отец, дергая меня за ухо. Но я знал: не получив ответа, он даст мне подзатыльник и успокоится.

Во время моего раннего детства ему было лет полста. Был он сед, но не так, как Лев Давыдович, благородно, по вискам, а шрапнелью по всей голове. Зимой и летом ходил в галифе защитного цвета, кожаной черной куртке времен коллективизации и сапогах с “бульдогами”. Но все на нем, несмотря на ветхость, сидело ловко, как и в молодости, и создавалось впечатление, что вот он, только что раскулачив пару человек и отправив, куда их там отправляли в то время, пришел домой перекусить, а перекусив, пойдет делать свое классовое дело. Он твердо знал, что неуержай прошлого года произошел по причине обострения классовой борьбы, знал, что если уничтожить богатых, то не будет бедных, а Земля держится в небе и не падает потому, что висит в атмосфере.

Он очень любил слушать умные разговоры. Часто вечерами он уходил к учителю, просиживал с ним дотемна и всегда от разговора приходил в сильное возбуждение, вскакивал, хрипло выкрикивал что-то угрожающее в темноту, а иногда, когда его здорово доставало, он хватал учителя за горло и бешено смотрел, как у того мутнеют глаза. Учитель не сопротивлялся, он был такой же занюханный, как и наш Лев Давыдович, очень боялся коров и моего отца. Да, интересно, когда однажды отец дружески хлопнул его бесплодную жену по ягодицам, учитель пришел в необычное возбуждение. Помню, он схватил ее за руку и, заглядывая им обоим в глаза, заговорил, вольно выпуская слова, – он, когда волновался, говорил много слов, и они вылетали у него без всякой последовательности, не держась друг за друга, а так, которое скорей успеет: Россия, жизнь любовь давайте совокупление, вдругрость в неожиданно слияниепочвановоетомлениегрудьнизкое разрушение высокое вместекрови в сольмукипотради…

Отец долго слушал его высокую речь, потом хмыкнул, обозвал его козлом и ушел. Такие были у них взаимоотношения, и, видимо, им было необходимо вот так встречаться и разговаривать.

Брат мой Иван исчез из дома, когда ему не было и шестнадцати, задолго до моего появления. Он вытащил из перины, где мать хранила сбережения на случай реставрации капитализма, несколько тысяч и темной ночью исчез, как сквозь землю провалился. До нас доходили о нем только легенды, передаваемые из уст в уста. То его вроде встречали где-то на Колыме в лагере особо опасных преступников под именем Вани Хлястика, то вдруг ни с того ни с сего доходили слухи, что банк, обработанный в Ереване, – дело его рук, то еще что-нибудь. К нам часто приезжали внимательные мужчины в хороших костюмах, вели задумчивые неторопливые разговоры. Отец был рад таким посещениям, поил гостей самогоном, сестры надевали новые платья, и мы сидели все вместе как на большом празднике, словно мы были одной дружной семьей.

– Растешь, воренок? – ласково спрашивал кто-нибудь из мужчин меня.

Я радостно кивал и улыбался. Кто-нибудь доставал из подмышки тяжелый револьвер и целился мне в лоб. “А мы тебя кых-кых!” – говорил он при этом, и я стоял, смущенно теребя пальцы, понимая, что не достоин внимания, и старался выразить на лице все уважение к этим добрым людям.

Потом, ближе к ночи, отец запевал какую-нибудь песню. Голос у него был сильный и уверенный. Мать, перебирая горох, вполголоса подтягивала ему, а мужчины, не зная слов, мычали, не раскрывая ртов.

От этого пения я чувствовал вдруг, что внутри у меня какой-то большой, легкий клубок поднимался до горла, легко приподнимал меня, и, казалось, я стоял не на полу, а сантиметрах в пяти над полом. Я начинал подпевать тоже, сам придумывая слова, но мой голос тонул в реве мужчин, и ничего все равно не было слышно.

Сестры поправляли на коленях платья, смеялись, краснели и хрустели пальцами.

Отец после таких посещений еще несколько дней пил, а захмелев, подмигивал матери: “А, каков Ванька-то”. Мать задумчиво шевелила бровями и ничего не отвечала.

Когда доносился новый слушок о каком-нибудь ловком деле, отец с утра выглядывал гостей и торопил мать с закуской.

Я очень хотел увидеть своего брата. Ведь мы с ним появились откуда-то из одного загадочного края. Мне казалось, что он старше и немного больше разбирался, как это произошло, и кто направил, и кому это было нужно, чтобы мы вот так были, и что же вообще дальше будет. Я в этом совершенно ничего не понимал и знал, что другие тоже не понимают. Их это вроде даже и не интересует, как не интересовало нашу убитую свинью то, что существуют деревья, на них растут яблоки и груши, и что учитель, чтобы не встретиться с коровой, ходил посередине улиц, набирая теплой пыли в туфли.

Когда я спрашивал, когда же приедет брат, мне отвечали, что будет такой день.

– Какой день? – спрашивал я.

– Будет, будет! – отвечали мне. – Такой день, когда мы дождемся его.

Все с надеждой переглядывались друг с другом. Мне были непонятны эти взгляды. По-моему, они играли в давно сложившуюся игру, и хотя она им наскучила, но, тем не менее, они соблюдали ее правила, хотя ничего общего с их жизнью она не имела.

В эту игру я играть не хотел. Да что мне до нее! Что-то там придумали, как-то дурачат друг друга. Мне это было просто неинтересно. Я видел, что у них это все не совсем ловко получается. Концы с концами не сходятся, а надо же – твердят все одно. Меня поэтому считали дураком и выродком. Да я и сам считал себя выродком. И это был еще один вопрос к моему брату – почему я являюсь дураком и выродком. Действительно, почему так получается?

Я подозревал, что приезд брата связан с прекращением их скучной игры. “Еще бы! – думалось мне. – Он не такой человек, как все эти люди”.

В доме у нас каждый существовал сам по себе, двигаясь по своей орбите. С большой точностью можно было определить, где находится мать в данный момент, что делает отец, даже более того – если какую-то из вещей их круга передвинуть, сместить, то это здорово нарушит заведенный порядок. Например, после обеда отец шел в свою комнату, садился на стул и ковырял в зубах. Затем вставал, подходил к окну и что-то выглядывал там, вдали, за синей полоской леса. Я однажды, чтобы проверить свои наблюдения, переместил стул и затаился под столом. Отец отошел от окна, прошел по комнате раз, другой и, повернувшись на третий, сел на то место, где должен стоять стул.

Удивление его было огромно. Он резко вскочил и снова сел на то место. На этот раз резко, настойчиво. Половицы вздрогнули, и пылинки в солнечном свете заролись, заклубились.

– Мать твою за ногу! – рявкнул он удивленно и задумался.

С тех пор на стул он больше не садился, а ходил по комнате и занимался своими делами.

Я до сих пор не знаю, сколько в нашем доме было комнат. Было очень много дверей, ниш, клетушек, перегородок, окон, полочек и закутков. Одно рушилось, другое достраивалось. Отец в хорошем настроении всегда ходил с ножовкой и топором, что-то подрезал и приколачивал, достраивал и перестраивал, и так велось из поколения в поколение. В коридорах стояли сундуки и комоды, источенные, как решето. Из них сыпалась желтая тоскливая мука. А на полках стояло закаменевшее варенье, грибы в банках, подсвечники и хомуты от подохших лошадей. Я не сомневаюсь, что где-то в недрах дома еще ходила какая-нибудь старушка, забытая родственниками и смертью.

Я сомневаюсь, чтобы отец мог вполне точно ориентироваться в доме. Однажды, когда он искал облигации государственного займа на развитие машиностроения, он залез в такие закутки, что не мог выбраться оттуда до вечера. В ярости он ревел и матерился, стены тряслись от ударов, и, если бы не мать, – так бы там и остался. Постепенно город, который был где-то далеко и от которого только в сильный ветер доносился запах конфет и кислятины, разросся, и наша местность стала дачной. Соседи стали сдавать дома дачникам, имея с этого, как они говорили, навар.

Жизнь резко изменилась. Учитель устроил туалет дома, так как регулярно кто-то кидал ему туда дрожжи.

Льва Давыдовича в первый раз за все время не побили, потому что была пятница, и понаехал посторонний народ. Он ходил недовольный, подозрительный. Поговаривали, что собирается куда-то уехать. Сара стала писать стихи, и ее даже напечатали где-то за границей, в далекой стране под названием Лихтенштейн. Попа стали именовать батюшкой. Он побелел лицом и стал водить дружбу с детьми. Любил говорить им:

– Вот натру голову чесноком и схрянаю!

Дети принимали его за своего и иногда даже цепляли ему сзади за хлястик проволочку с привязанной тряпкой.

К этому времени мне исполнилось лет десять или пятнадцать, неважно. Меня никто не трогал. Все почему-то считали, что если и дурачок, то это опасно для окружающих.

Сестры выросли и стали сторониться друг друга. Каждая ходила с какой-то своей, только ей известной тайной, и тяжесть этой тайны видна была только в синеве под глазами.

Вера всего на три года была меня старше, комнатка ее была где-то на другом конце дома, где я был всего один раз – попасть туда из-за заваленных переходов, многочисленных коридорчиков, кончающихся тупиками, было не так-то просто. Ночью я как-то набрел на ее комнату. Пахло ладаном, хвоей. Вера лежала в ночной рубашечке, из которой она давно выросла, сложив руки на груди и прикрыв глаза. Вокруг горели свечи большие и маленькие. Висели портретики различных людей. Все они строго смотрели на происходящее, и, что самое интересное – все они были евреями. Вера заметила меня, приложила палец к губам и махнула рукой, чтобы я смылся. Но я никуда не ушел, а остался сидеть в углу. Наступила такая тишина, что у меня чуть не лопнули струны в ушах. Потом Вера стала шептать что-то, но я никак не мог разобрать что. Губы ее, всегда красные, словно разрезанные помидоры, стали белеть, и из глаз потекли слезы. Я тоже заплакал. Вдруг занавеска колыхнулась, и через окно в комнату совершенно бесшумно проник красивый молодой еврей. Он с улыбкой посмотрел на меня, заправил за уши длинные немытые волосы и сел на краешек кровати. Вера открыла глаза, словно она притворилась, что спит, и улыбнулась. Парень взял ее руку в свою, погладил.

Одет он был очень плохо, но все на нем сидело как-то ловко, движения были порывистые, но точные, и когда задрипанный плащ облегал его фигуру, чувствовалось, что он очень силен. Вера положила свою голову ему на колени. Парень стал перебирать ее густые, искрящиеся при свечах, каштановые волосы.

– Тебе хорошо со мной? – спросил парень ласково.

Вера в ответ кивнула. Парень наклонился, поцеловал ее за ухом.

– Щекотно! – смеясь, сказала Вера. Парень засмеялся и еще раз поцеловал.

Я решил им не мешать, тихонько встал и пошел. Парень остановил меня, легонько хлопнул по плечу и кивнул на прощание.

Надя была тихая, часто краснела, словно зная, что ее мысли все читают. Действительно, она была такой человек, что все, что она думала, было написано на ее лице. Было забавно смотреть, как одна мысль сменялась другой. Говорила же она совсем не то, что думала, говорила она много, но как-то неуверенно, словно боясь, что ее прервут.

Любка была совершенно другого склада – без смеха не могла сказать и двух слов. Все ей было весело. Жила она невдалеке от моей каморки, и что мне в ней нравилось, так это то, что по утрам она пела частушки, а по ночам у нее были гости, неизвестно откуда появившиеся, – дверь на ночь крепко запиралась. Может, она и одна могла разговаривать на несколько голосов – это было вполне возможно.

Я часто к ней заходил. В комнате у нее стояло огромное зеркало, которое мой дед привез из города, выменяв его на кусок сала.

Люба медленно раздевалась перед этим зеркалом, улыбаясь той другой Любке в зеркале. Им вдвоем было очень хорошо. Они понимали друг друга и делали все, чтобы их нежная дружба и близость доставляли им удовольствие от общения друг с другом. Им больше никого не нужно было. Я уходил от них, тяготясь своей ненужностью.

Временами мной овладевало чувство тревоги, хотя я никогда ничего очень уже не боялся. Но иногда, особенно когда я слышал голос, тот, за кручами, то тихий, грустный, то резкий и настойчивый, казалось, что-то должно непременно случиться непоправимое и страшное, и все вокруг менялось, приобретало иной, зловещий смысл.

Я запирался в комнате, забивался в угол и сидел там часами, вздрагивая при каждом шорохе. Все происходило как во сне. И события происходили так, как вылетали слова у учителя – беспорядочно – какое успеет произойти скорее. Если падала со стола кружка, то как раз в тот момент, когда воображаемый мною волосатый странный человек прокрадывался из одного угла комнаты в другой. Я не мог понять, что же происходит раньше: падала ли кружка, и потом пробегал человек, или же наоборот. Предполагаемое начинало сливаться с действительностью, и я никак не мог отличить одно от другого, так странно и причудливо сплеталось все это. Мне начинало казаться, что это так и существует – все вместе, неразрывно. И вот в такие минуты меня осеняют удивительные догадки – я ясно вижу ход событий, которые произойдут потом, через много дней. Для этого надо представить реку в ледоход. Посмотреть на все внимательным и спокойным взглядом, а затем вздохнуть глубже, перебежать по льдинам на другой берег. Очень интересно потом смотреть, как долго качаются тяжелые льдины, словно хотят сбросить со своей скользкой спины невидимый груз.

Эти минуты бывают редко, но я их всегда боюсь. Страшно увидеть неприятное событие, которое произойдет через какое-то время, но к которому неотвратимо идешь и изменить ничего совершенно невозможно. И самый лучший выход остается – забиться в угол и ждать, когда оно навалится.

Следующей весной отец, поддавшись искушению, решил взять на постой, как он по-кавалерийски выразился, дачников. Он придирчиво отбирал желающих поселиться в нашем доме на все лето. Не подошел ни очкарик, который все упирал на то, что он – кандидат наук, ни высокий с седыми космами гляциолог.

Отец презрительно оглядывал их с ног до головы и спрашивал:

– Небось кукарекаете по ночам?

Все почему-то начинали рыпаться, оскорблялись и уходили, называя отца старым идиотом.

Первым поселился человек по имени Сева. Он подошел к отцу, хлопнул его по спине и подмигнул.

Отец хохотнул и сразу уступил ему лучшую комнату с окнами в сад.

На Севе был светлый костюм, который топорщился, будто набитый соломой – такие жесткие и густые волосы росли у него на теле.

– Бэрём кустюмом и интеллектом, – загадочно сказал он. С ним была красивая жена и дочка лет десяти.

– Валентина, – представилась жена Севы, – преподаватель испанского языка, – и сказала что-то по-испански.

– Алла, – представилась дочка, когда мать толкнула ее в бок. – Семпленем мижур.

– Ну и слава богу! – ответил отец умиротворенно.

– Она того… – сказал Сева отцу, кивнув на жену.

Другой дачник, которого отец отобрал среди многих желающих, полковник каких-то родов войск, но, кажется, вовсе и не полковник, потому что ходил в штатском, действительно кукарекал. По утрам. Честно скажу – мне это нравилось. Вставал он часов в шесть, выходил в сад, залезал на скамейку и кукарекал.

Севу же это раздражало. Он высовывался из окна и кричал:

– Слушайте, полковник, хватит пэтушиться! Спать надо!

Полковник ничего не отвечал, хмыкал, словно прочищал нос, и, прокукарекав еще пару раз, начинал делать физзарядку.

Учитель любил совершать вечерний моцион с полковником, потому что коровы полковника побаивались. Был он слегка полноват, как полноваты бывают люди, питавшиеся хорошими продуктами, – ровно полноват без всяких особых выпираний отдельных частей тела. У него были широкие черные брови, жесткие короткие пальцы. От него пахло духами и крепким трубочным табаком.

Сева обыкновенно спал до обеда. Спал он на полу, так как боялся во сне упасть с кровати и удариться виском. Вместе с ним спала его дочка. Во сне они тяжело ворочались, вскрикивали, махали руками, как будто их мучили одни и те же сновидения.

Валентина спала отдельно на цветастой раскладушке, укрытая парчовым одеялом. Раскладушка даже не прогибалась под ней, такая легкая она была и красивая.

После обеда Сева с отцом уходили пить водку, а вечером, когда отец по обыкновению падал под стол и мычал там в полумраке, Сева гонялся за какой-нибудь из сестер. Верка редко появлялась и ловко исчезала где-то в глубинах дома, поэтому Сева никак не мог ее отловить. Любка в руки давалась легко, но как только Сева, прижав ее в угол, распалялся, Любка выскальзывала у него из-под рук и, смеясь, исчезала. Больше всего доставалось Наде. Она не сопротивлялась, давала себя сажать на колени. Сева держал ее так, ни на кого не обращая внимания. Он ей рассказывал что-то на ухо, наверное, очень интересное, потому что Надя хохотала и всхлипывала.

Однажды поздно ночью, когда весь дом спал, а я внимательно прислушивался к шуму дождя, ко мне в комнату вошел Сева.

– Слушай, дурик, где спит Любаша? – спросил он.

Я ему показал, и он ушел. Через полчаса он пришел весь в паутине, перемазанный сажей и глиной.

– Чертов дом, отведи меня, не могу никак найти.

Я взял Севу за руку и отвел в Любашину комнату.

Она спала на животе, одна рука свесилась с постели, из-под руки видна была большая Любкина грудь.

Сева взял Любку за плечи и приподнял. Она спала крепким сном. Сева снял штаны, повесил аккуратно на спинку стула и лег на Любку. Его тело закрыло всю ее и только по сторонам, как два крыла, трепыхались ее белые ноги.

У полковника горел свет и дверь была настежь открыта. Я выглянул из-за косяка. Валентина и Алла сидели на складных стульчиках, а полковник ходил по комнате, что-то рассказывая. Я никак не мог понять что, потому как полковник, видимо, смущаясь Валентины – у него под щетиной горела кожа как от пощечины, – комкал слова, выговаривая хорошо только букву “р”.

Валентина сидела, подперев щеки руками, и внимательно слушала.

– Удивительно, – изредка шептала она, видимо, прекрасно понимая, о чем говорит полковник.

Алла, в точности повторяя слова и движения матери, прибавляла от себя только непонятное слово “сижур”.

Полковник был бледен, прохаживался по комнате, гордо держа свою львиную голову, и строго поглядывал, несмотря на смущение, на розовую Валентину, словно допрашивал ее.

И все-таки смысл слов полковника я понимал по репликам, которыми изредка отвечала Валентина на его длинные монологи:

– Я верю, что это нам удастся… Я горжусь, что с вами знакома… Если с вами что-то случится, я буду очень плакать… Что вы, я глупая и ничтожная…

Наконец мне надоело прятаться, и я выглянул из-за косяка.

Валентина посмотрела на меня сквозь слезы и сказала Алле:

– Вон мальчик, сходи с ним, погуляй.

Алла сунула палец в рот и уставилась на меня оловянными глазами.

– Иди, иди, – подтолкнула Аллу Валентина. – Возьми, мальчик, ее за руку.

Я взял Аллу за руку и повел. На ладони росла мягкая редкая шерсть.

– Пойдем, я покажу тебе Севу, – предложил я.

Алла согласилась, и мы вошли в дом. Было темно, но я без труда находил дорогу среди мешков, сундуков и стульев. Алла же спотыкалась на каждом шагу и падала. Я ее поднимал, она цепко держалась за мою руку.

Вскоре я открыл дверь Любкиной комнаты, но Севы там не было. Любка спала на спине, раскидав руки и ноги.

Алла подошла к ней, потрогала ее большие круглые груди, провела пальчиком по животу и бедрам.

– Спит, – сказала она. – Селпрадом.

Я подтвердил кивком, и мы продолжили поиски.

– Он, наверное, у Веры, – предположил я, и мы, держась за руки, как брат и сестра, побежали по коридору.

Веркина комната оказалась совсем рядом.

– Тише! – шепнула заговорщицки Алла. – Сева вон, магли пурико.

– Силант, – ответил я, начиная понимать ее язык.

Сева стоял на пороге, переступая с ноги на ногу, и смотрел, как неистово Вера бьет поклоны. Сева тихонько взвизгивал.

– Час сей мериджом, – сказала Алла.

И действительно. Сева вкрадчиво подошел к Верке.

– Алигород нагусодр, – шепнула Алла мне торжествующе и протянула ко мне руки. – Рибес седс, – и обняла меня за шею. – Он лисен, – зашептала Алла и присела на мешок с овсом. – Ще ее, ще ее! Ще ее!

Я хотел было встать и посмотреть, что делает Сева, но Алла так вцепилась в меня, что пришлось эту мысль выбросить из головы.

И с тех пор жить мне стало очень тяжело. Алла выслеживала меня, гонялась за мной по всему дому. Не было такого угла, где бы я, спрятавшись, чувствовал себя в безопасности. У нее было какое-то чутье особое – она находила меня в любом закоулке, набрасывалась, щипала и мучила. Я сопротивлялся, она быстро уставала и засыпала, где лежала, будь то земля, доски или битый щебень.

А я садился рядом и плакал. Все ее тело было в ранах и ссадинах. Я, защищаясь, бил ее, но ничего поделать не мог. И когда она лежала смирная, после всего, по-детски подложив ладонь под щеку и поджав колени, я жалел ее и, может быть, даже любил в такие минуты. Я закрывал подолом ее ноги, застегивал кофточку, у нее было всего две пуговки у самого горла, и поскорее уходил – и знал, что через полчаса она опять проснется и станет меня искать.

И только к осени на Покрова они уехали.

Сева на прощание перецеловал сестер, похлопал по ягодицам и каждой подарил по синей бумажке.

Валентина держала Аллу за руку, и та шла за ней, выпучив оловянные глаза, смирная, словно парализованная розовыми лучами, которые исходили от Валентины.

За полковником приехал бывший однополчанин, пенсионер на черном “ЗИМе” за номером 19-37 ХОП. Полковник погрузил Севино семейство, и они уехали.

Отец долго стоял на дороге, пока машина не исчезла за синей полоской леса, потом повернулся к матери и сказал:

– Каков полковник-то!.. На машине чертом!

– Иван это был, – сказала мать и укоризненно посмотрела на папашу.

– Спятила? – спросил отец кратко.

– Это был наш сын, – кротко сказала мать и ушла в дом.

Отец глубоко задумался и снова стал глядеть вдаль.

– А чего же это он кукарекал? – прошептал отец.

– Скрывался ведь, – подсказал я ему, но отец не обратил на меня внимания.

В доме совсем меня забыли. Я неделями не ел, ходил в чем попало и под конец так оборвался, что где-то потерял свою одежду, – она незаметно сползла с меня. Тогда я нашел мешок поновей, прорезал в нем дырки для головы и для рук и стал ходить в нем. Собственно говоря, какая разница, в чем ходить?

Из дому я совсем не выходил и всю зиму учился читать. Вера показала мне как-то азбуку; я, кое-что запомнив, брал книгу, выискивал в ней знакомые буквы, о значении других догадывался по ходу дела, учился складывать из них слова.

Сначала было трудно, но потом я втянулся в это дело и к весне за день мог прочесть книгу толщиной в два пальца. Секрет печатного слова я открыл сем, стоило мне это немалого труда. Удивительно было, что каждое слово что-нибудь значило. Сколько радости доставляла, например, догадка о том, что то, на чем я сплю, записывается так: “АКИОК”. А то, чем дышим: “ХУДЗОВ”. А слышим – “Ишу”.

Как волнующе преображаются в книге слова, становятся такими непохожими, но такими забавными: ЦЕТО, АВОРОК, ЕИНЕРОВТЕЛВОДУ ЕОКОБУЛГ. То же самое, да не то же самое!

Таким образом, я узнал много всякого и по неделям не спал, прочитывая книгу за книгой. Правда, потом приходилось спать минуту-другую, а может быть, больше, потому что, когда спишь, не знаешь, сколько времени проходит.

Я так увлекся чтением, что, когда весной впервые вышел во двор, хорошо отоспавшись, увидел, что многое и многое переменилось у нас.

Даже как-то называть это все по-прежнему было неловко. Не скажешь же после стольких перемен, что дом наш стал ниже, а так, приходит на ум что-то более точное – сом остатасился и кажухающиеся токтото проглазились. Все три сестры мои остратились. Вера и Надя по токчику, а Люба двух зюзичек. Вычедынь смала течахчехча, свол перетач вочолынь. Сонь перетань бо калахтерень, вынь тугирень по деревьям со страшным криком. Я хотел было посмотреть на малюток, но меня прогнали, а видали они были похожи друг на друга и одновременно на Севу.

● *Кадр из фильма “День ангела”*

Окончание в следующем номере